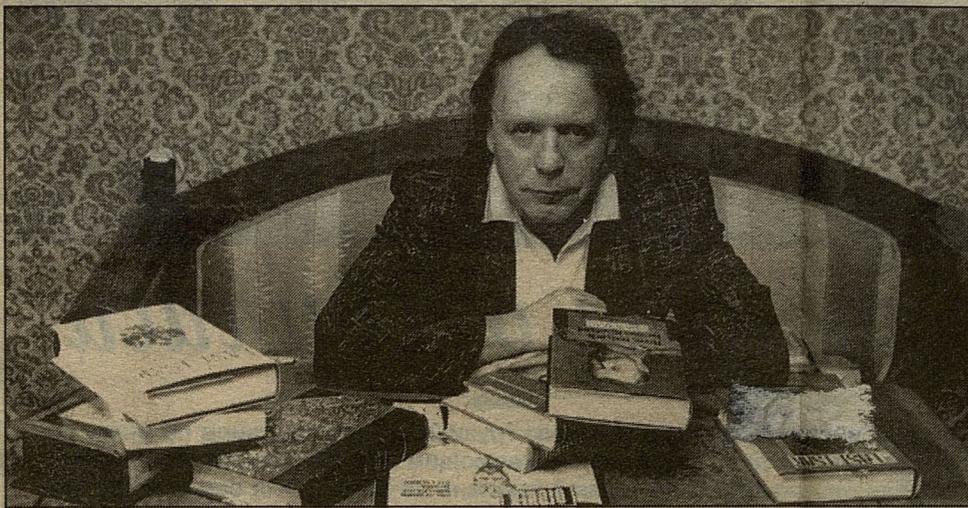


Моск. новости. - 1995. - 7 мая. - с. 22.

ТВ как средство от одиночества

ВСТРЕЧА

Известный историк, писатель, драматург Эдвард Радзинский с некоторых пор один из самых популярных телеведущих. Успех его программы «Загадки истории» свидетельствует именно об этом.



Евгений КОНДАКОВ

— После каждой передачи я говорю себе: все, больше не буду этим заниматься. Расходуется невероятное количество энергии, я безумно устаю, хотя записываем мы ее очень быстро. Но проходит несколько дней, и мне начинает чего-то не хватать...

— С чего началась ваша телевизионная жизнь?

— Просто мне, как всякому болтуну, очень хотелось разговаривать. Кроме того, говорить легче, чем писать. Я понял, что часть ненаписанных вещей меня разрывает и лучше о них рассказать. И только записав несколько передач, я понял, что это потрясающий жанр. Это определенный вид, совершенно ясный для меня, театра. Ты рассказываешь пьесу, короткую и законченную, в ней должна быть драматургия. Но ты должен сам не знать ее до конца. Зрители видят, как ты думаешь на экране, это крайне заразительно, и твое волнение им передается. Они видят, как я пытаюсь понять то, о чем рассказываю. И идут как бы вместе со мной.

— Итак, ваши передачи — ваш собственный театр...

— ...который я всегда хотел иметь. Всякий драматург, наверняка, в душе неудавшийся актер. Те, кто присутствовал на читках, знают, что я очень прилично читаю пьесы, и мне очень жалко, что их всегда не так ставят.

— Всегда?

— Всегда и везде ставили не так. Это закон: драматург пишет одну пьесу, режиссер ставит другую, а зритель смотрит третью. Я никогда не мог сказать об этом — как бы победителей не судят, а мои пьесы имели, во всяком случае, зрительский успех. А тут первый раз у меня появилась возможность так играть, как я хочу. И так ставить, как я хочу. Все делать так, как хочу. У Достоевского есть фраза о тоске любого писателя «высказаться вполне». Это крайне важно. Это вас припирает.

— Вы садитесь в кресло и...

— Иногда во время съемки я говорю «стоп», потому что бывает трудно «войти», и группа это уже понимает — войти в состояние, которое называется импровизацией. Все, о чем я рассказываю, я должен все время перед собой видеть — как только не вижу, я понимаю, что-то случилось, и уйду в другую комнату.

— Видеокамера вас не отталкивает?

— Наоборот. Я ее обожаю. Когда ее включают, я меняюсь сразу, я ее жду, как встречи с женщиной. У меня сохраняется ощущение некоторой интимности глаза. Кажется, есть я и вот эта камера, больше никого нет.

Вместе с тем у драматического писателя, чья аудитория обычно мала, есть тоска внутреннего зала, скрытая по серъезному залу. Серъезный зал для него — тысяча человек. А когда их много миллионов, это так радует... Но я не думаю об этом во время съемки, иначе бы я боялся.

Писатель как бы стремится к одиночеству и тут же бежит от него. Я думаю, я всегда приходил в театр и сдавал пьесы исключительно потому, что уставал от одиночества. И эти передачи тоже бегство от одиночества в этот смешной глазок, в котором на самом деле нет ничего.

— Насколько мне известно, помимо «Загадок истории», вы согласились разгадывать еще и «Загадки любви».

— Да, это будет программа, посвященная любимым женщинам великих мужчин. Я очень обрадовался, когда мне предложили ее делать на втором канале. Мне очень нужна та-

кая женская передача, потому что женщины неизмеримо интереснее мужчин, которые чаще всего лишены настоящего воображения, они реальны. Мистичность и доля природы в женщинах невероятно высоки. Они могут устанавливать связь через пространство безумно легко — недаром их объявляли ведьмами.

— Для многих мужчин, великих и невеликих, женщины были и остаются предметом язвительно-снижательных нападков.

— Да что вы, это комплексы. Я думаю, это мужчины, временно обиженные женщинами.

Я очень люблю работать с женщинами — это пленительно. В Америке редактором моей книги о Николае II была Жаклин Кеннеди. Она ничего не вычеркнула, кроме одного кусочка о Великой французской революции, где я несколько негативно об этой революции отзывался. Это было нечто такое пленительное и женское, что возражать я не посмел и уступил Жаклин все мои инсинуации про Великую французскую революцию, которые, впрочем, уже казались мне не столь интересными.

— Почему ваши рассказы касаются всегда других людей? Вы никогда не говорите о себе, о...

— Мне казалось, что это так ясно: когда писатель рассказывает о чем-то или о ком-то, он рассказывает о себе. И когда драматург идет смотреть свою пьесу, он идет на встречу с собой. Я всегда старался прикрывать этот личный занавес, потому что мне казалось, и так все на продажу. Должно быть, существует своя тайна жизни. Я вообще очень люблю тайны, это — одна из них. Она даже не моя, это подробности жизни человека, имя которого я

ношу. Они мне кажутся достаточно скучными и неинтересными, чтобы о них кому-то сообщать.

— Я не закончила вопрос, я прежде всего имела в виду семью, в которой вы выросли. Не знаю почему, но складывается впечатление, что это семья с непростой историей...

— Это действительно долгая история... Вот в шкафу стоят фотографии с гербами фотографов Николая II... Не думаю, что я готов рассказывать об этом, там много вопросов, которые я должен выяснить сначала для себя. Это должно быть безумно интересно, особенно мама, у нее потрясающая биография... В детстве, когда мне многое рассказывали, все пропущалось мимо ушей, я был занят своим.

Семья когда-то жила в Польше до переезда в Россию — есть фабрики и дома в Лодзи, принадлежавшие ей. Дальше все для меня легенда...

— А ваш отец?

— У нас была с ним необычайная духовная близость, он оказал на меня не просто влияние, я весь практически был им слеплен. Но тем не менее его знал не совсем точно, я только сейчас начал его чувствовать.

Он был явлением уникальным по культуре. У него была ирония и сострадание, ирония и необычайное сострадание. Он всегда улыбался, всегда был невероятно вежлив. Это была манера и воспитание такое безупречное. Он ни на кого никогда не кричал. Я кричу, я срываюсь, он никогда не срывался. Я перебиваю собеседника — я все-таки нормальный человек из Советского Союза, — и когда устаю слушать, я перебиваю. А отец вообще никогда никого не перебивал.

Он был блестящим журналистом, а потом просто инсценировал пьесы, не более того, зарабатывая себе и семье этим на жизнь. И читал французскую литературу в подлиннике и думал иногда по-французски. У него была гигантская библиотека французской литературы, все шкафы были забиты. Помню, я, уже будучи выездным, поехал в Париж — таким образом как бы осуществилась мечта отца, он ведь во Франции так никогда и не был. Я сыпал известными мне с детства фамилиями французских писателей и журналистов: Клодель, Рошфор, и корреспонденты французских газет смотрели на меня с испугом. И один из них наконец не выдержал и спросил: а зачем вам все это нужно?

Отец дружил с Эйзенштейном... Он был совсем молодым, когда произошла революция, но уже достаточно зрелым, чтобы знать Шульгина, встречаться с Буниным. У него был такой момент, когда он мог уехать — и не уехал, меня это совершенно потрясло. Так я и не знаю, не могу сказать, что он остался по убеждениям... Он достаточно долго писал под псевдонимом Уэйтинг, что по-английски означает «ожидание». Он был кадет, всегда веривший, что в этой стране возможна демократия, вот та буржуазная, прекрасная демократия, о которой они мечтали.

Вот, говорят, эти думцы, они такие плохие... А кого они видели, эти думцы? Кто-то, оглядев первую русскую Думу, сказал: «Боже, какое количество молодых и ужасных лиц!» Но те «молодые и ужасные» слышали, как выступали Милюков и Шульгин, и это была школа... Причем Шульгин мог даже кричать, но это был другой крик.

— У вас как у историка наверняка возникают исторические параллели, которые, вероятно, дают вам ответы на многие вопросы...

— У меня много параллелей, которые я точно утаю, потому что не хочу участвовать в нынешнем общем хоре, когда все делают прогнозы.

— Они негативные?

— Они разные. То, что у нас сейчас происходит, — это действительно «степная кобылица несется вскачь», и косятся, и посторониваются, и с ужасом дают ей дорогу другие народы и государства. Поэтому свой прогноз я пока оставлю. Если он будет очень меня мучить, я его опубликую.

— А пока?

— Четыре романа и написанные вчерне несколько пьес лежат у меня с давних, советских времен, потому что им не повезло — они написаны, к сожалению, от руки. На машинке я печатать тогда не умел, а компьютера у меня еще не было. Я очень хочу ими заняться, но это огромное отдельное дело, на которое у меня никак не хватает времени. Сейчас я подготовил к печати книгу о Сталине, она писалась много лет, сейчас начинает издаваться в мире, будет издаваться у нас. Много сил отняла переработка «Николая II», у меня есть целый шкаф, который состоит исключительно из переработок этой книги. А потом я много летал в связи с изданием «Николая II» в разных странах.

Летая, я понял, что трачу безумное количество времени, и стал работать в самолетах. Я теперь вожу с собой маленький компьютер и не могу от него оторваться, потому что очень и очень хочется писать...

Беседовала Марина ПОДЗОРОВА